

В. А. Бачинин

АНТРОПОКРИМИНОЛОГИЯ ДОСТОЕВСКОГО: ТИПЫ ПРЕСТУПНИКОВ

Человеческое «я» многомерно и выступает таковым во всех его проявлениях, включая и те, которые носят асоциальный, криминальный характер. Для Достоевского человек, как некогда и для Аристотеля, – это политическое, т.е. общественное животное, способное к соблюдению законов и их нарушению. Личность преступника, т.е. человека, в чьих мотивах, ориентациях и поведении преобладают деструктивные компоненты, преследуемые уголовным законодательством, имеет не менее сложную структуру, чем индивидуальное «я» того, кто обладает положительными социальными качествами.

Мотивационная сфера, та внутренняя «кухня» или, точнее, «лаборатория», где возникают «мыслепреступления», не исчерпывается одними лишь рассудочными, рационально объяснимыми ориентациями. Не случайно внутри индивидуальных «я» многих героев Достоевского почти всегда обнаруживается некое иррациональное начало с отрицательным зарядом, слабо поддающееся контролю морально-правовых доводов, так что рассудок чаще всего оказывается поставленным в зависимость от этих деструктивных импульсов. В результате рациональная деятельность устремляется на логическое обоснование допустимости как самих имморально-криминальных импульсов, так и целей, на которые они устремлены. Эти мотивы способны обретать характер наваждения, отмеченного печатью демонического соблазна.

Когда же преступление совершается, то происшедшее производит необратимые перемены в социальном пространстве. Достоевского как художника-аналитика влекла удивительная, даже парадоксальная особенность человеческой психики, состоящая в том, что люди способны время от времени ощущать недовольство от царящего в них порядка, что их может начать раздражать однообразное существование в плену социальных законов и норм. И тогда им вместо порядка начинает хотеться хаоса, а вместо созидания – разрушения.

Темная харизма «человека-демона»

Метафизическое «сверх я» способно выводить человека далеко за пределы тех возможностей, которыми обладают его «низлежащие» ипостаси – витальная, социальная и духовная. Существуют личности, чье метафизическое «эго» обладает такой силой, что значительно превосходит аналогичные способности большинства обычных людей. Этот высший дар, или харизма, в силу своей

Бачинин Владислав Аркадьевич – доктор социологических наук, профессор кафедры социологии и политологии Санкт-Петербургского университета МВД России.

Адрес: 190008, Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, д. 201, кв. 10.

Тел.: 219-42-30.

амбивалентности, несет в себе либо колоссальный созидательный потенциал, либо огромную разрушительную энергию. В первом случае харизматичность проявляется как светлый дар богоизбранничества, как творческий гений, а во втором – как темная печать гения зла и демонической способности творить невиданные преступления и разрушения.

Тема сумеречной харизмы и судьбы незаурядной личности, которой покровительствует Дух зла, составляет один из важнейших сюжетов мировой религиозной и художественно-философской мысли. Ее всегда занимало то, почему, из-за чего необычайная личная одаренность способна окрашиваться в темные тона приверженности аморальным и преступным целям, в зависимости от которых деятельность харизматической личности обретает вид вереницы злодеяний.

Издавна проблема темной харизмы рассматривалась в связи с традиционной мифологемой Антихриста, о котором сложились представления двух типов. В одном случае это предания о грядущем пришествии человека, действующего по наущению дьявола. Пророчества гласят, что он станет выдавать себя за Христа, являясь его антиподом, его страшной карикатурой, воплощенным злом в маске добра. Этот чудовищный лицемер, отрицающий заповеди Бога и все нравственные принципы, воцарится в мире, где «люди будут себялюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, непослушны родителям, неблагодарны, нечестивы, немилостивы, неверны слову, клеветники, невоздержанны, безжалостны, чужды любви к добру, предатели, наглы, напыщенны, любящие наслаждение больше Бога» [2 Тим., 3, 2-4].

Кроме этой мифологической модели грядущего мирового узурпатора возникали представления, в которых Антихрист отождествлялся с реальными историческими лицами – императорами, завоевателями, крупными государственными деятелями. В их личностях словно концентрировалась энергия мирового зла, способная производить мощный разрушительный эффект. Осененные темными харизмами, они, несмотря на попытки разыгрывать роль благодетелей народов, сеяли вокруг себя страх и ненависть.

Во второй половине XIX в. проблемы темной харизмы заняли заметное место в творчестве Ф. Ницше. Философ предпринял попытку создать «идеальный тип» харизматической личности, такую ее философскую модель, которая шла бы вразрез с традиционными христианскими представлениями о нравственности, гуманности, справедливости. Ницше изначально наделил своего вымышленного сверхчеловека темной харизмой, видя в ней высший знак отличия от обычных людей, придерживающихся в своем поведении общепринятых нравственных норм. Созданный фантазией мыслителя-поэта пророк Заратустра предстал как «пятый евангелист», возвещающий о грядущем приходе нового сверхчеловека, создающий вокруг него ореол из пророчеств, символов, метафор и тем самым формирующий необходимую харизму.

Но вернемся к Достоевскому. Предпринятый нами небольшой экскурс позволяет подойти к наиболее загадочному из всех его героев – Ставрогину – с позиций метафизической социологии. Это возможно по той причине, что концепт харизмы, несмотря на его колоссальное метафизическое содержание, успешно социологизированный в XIX в. М. Вебером, несет в себе большой эвристический потенциал.

Личность Ставрогина, отличающегося «необыкновенной способностью к преступлению», окутана в романе полутьмой загадочности. Едва освещаются лишь отдельные эпизоды его прошлой и настоящей жизни. Эта незаурядная персона производила, как правило, ошеломляющее впечатление на всех, кто с нею сталкивался. Причина подобного эффекта заключалась в том, что Ставрогин являл собой пример избыточной одаренности человеческой природы. Внутри его ощущались огромные силы, не находившие благого применения. Титанизм его духа, чуждого гармонии, не признающего «золотой середины», требовал безмерности и признавал своей родной средой стихию вненормативности, вседозволенности. Не случайно Петр Верховенский выбрал именно Ставрогина на роль будущего Антихриста, темного гения человеческого рода.

Примечательная особенность Ставрогина, помешавшая ему пойти за Верховенским, – его раздвоенность. Достоевский не случайно наделил его фамилией, производной от греческого «ставрос» – крест. Его постоянно тянули в разные стороны, как бы распиная, противоположные устремления, заставлявшие в одно и то же время, например, насаждать в сердце Шатова идею Бога, а в разум Кириллова – идею богоборчества. При этом он умудрялся быть искренним в обоих случаях, не лицемеря ни перед тем, ни перед другим. Это его свойство позволило Вячеславу Иванову сказать, что будучи изменником перед Христом, он был неверен и Сатане.

Достоевский с самого начала работы над «Бесами» обозначил присутствие в Ставригине демонических черт, предположив, что будущий герой будет «обворожителен как демон». Это означало его осененность харизмой избранничества отнюдь не благого свойства. На протяжении романа ставрогинскому «я» было уготовано пребывание в духовном мраке. В силу каких-то таинственных причин, не ясных ни окружающим, ни самому Ставригину, он был напрочь лишен способности к любви, творчеству и состраданию.

Демоническое начало проявилось в Ставригине как дух непомерной гордыни. Этот первый среди семи смертных грехов заставлял его злоупотреблять свободой, отрицать авторитеты и общепринятую иерархию ценностей, пренебрегать различием между высоким и низким. Все низменное, позорное, преступное притягивало его к себе, подобно тому, как человека может притягивать бездна, рождающая желание заглянуть в нее, чтобы испытать смешанное чувство ужаса и удовлетворения. Внутренний демон заставлял Ставригина отыскивать некое особое удовлетворение в приходящем за грехом или преступлением слишком ясном сознании своего унижения и позора. И Ставригин почти никогда не выказывал сопротивления зову своего темного искусителя, словно сознавая себя пребывающим на службе у демона. Во время встречи со старцем Тихоном Ставригин спросил, можно ли верить в беса, совсем не веруя при этом в Бога. Тихон отвечал ему: «О, очень можно, сплошь и рядом», и этим ответом старец укрепил предположения Ставригина.

Вячеслав Иванов назвал Ставригина «отрицательным русским Фаустом». Определение «отрицательный» означало, что в Ставригине угасла любовь к жизни, а с нею и возвышенная устремленность духа, которая спасла гетевского Фауста и в итоге уберегла его душу от Ада. Вместе с тем, Ставригин крупнее и несравнимо «демоничнее» Фауста, поскольку идет гораздо дальше в своей трансгрессии и в своем аморализме и негативизме. Асоциальность в ее наиболее

темных проявлениях буквально завораживает его и заставляет временами приближаться к роковой черте, чтобы, увидев множество людей по эту сторону, очертя голову ринуться через нее.

Если Фауст не решился посягнуть на высшие нравственные абсолюты и в своем скепсисе не дошел до последнего «ничто», то Ставрогин – человек беззакония и беспредела, не просто придвинувшийся к самому краю открывшейся ему бездны тотального отрицания, но и решившийся испытать себя отчаянным броском в нее.

Темная харизма, осенившая дух Ставрогина, лишила его возможности ощущать присутствие Бога в мире. Надвигались «сумерки кумиров», и тьма, начавшая медленно застилать горизонт над славянским и европейским миром, была многообещающей для харизматических личностей такого масштаба, как Ставрогин. Но Достоевский поспешил повесить своего гражданина кантона Ури. И как знать, может быть, впоследствии он и жалел, что поторопился с актом справедливого возмездия: слишком уж перспективной в социально-историческом плане оказалась фигура «человека-демона».

«Человек-машина» и социодинамика трансформации порядка в хаос

Петр Верховенский, хладнокровный циник, легко переступающий через любые моральные преграды, являет собой особый тип преступника, к которому приложима философская метафора «человека-машины».

Как известно, во Франции в 1748 г. вышла книга Ламетри под таким названием. Ее автор изобразил человека как самозаводящуюся, перпендикулярно передвигающуюся машину. В представлении Ламетри человеческое существо, будучи прямым подобием часов или клавесина, вместе с тем подчинено естественной необходимости. Но обладая инстинктами, чувствами, страстями, оно лишено души. Ламетри полагал, что душа – это всего лишь термин, лишенный какого бы то ни было существенного содержания. Мир, в котором пребывает «человек-машина», антропоцентричен. В нем нет места Богу. Действительность устроена в соответствии с принципами ньютоновской механики и представляет собой механический конгломерат бездушных элементов. И природными, и социальными процессами движут те же механические силы.

У Достоевского философа «человека-машины» применима, прежде всего, к тем героям, которые представляют собой дельцов-практиков западного образца. Равнодушные к высшей метафизической реальности, они придерживаются «женевских идей» Руссо, допускающих возможность «добродетели без Христа». Для лужинных и ракитиных, как и для Ламетри, Бог и душа – мнимые нравственные величины. Это живые автоматы, хотя и заведенные таинственной рукой, но, как сказал бы о них Л. Шестов, не сознающие, что их жизнь – это не жизнь, а смерть. Изображая их, Достоевский излагает свою критику отнюдь не «чистого», а вполне «грязного», имморального разума, а точнее, пошлого, низменного рассудка, глухого к метафизике нравственных абсолютов, видящего в душе «один только пар», руководствующегося одним холодным расчетом и рассматривающего весь мир как набор средств для достижения своих целей.

Среди тиражированных Достоевским образчиков «человека-машины» Петр Верховенский представляет собой наиболее одиозный экземпляр. Он расчетлив, беспощаден и готов ради достижения поставленной цели идти на все и до конца, не останавливаясь перед самыми гнусными подлостями и преступлениями.

Обладая сильной, стремящейся к власти механической волей, Верховенский нашел соответствующую своей натуре, столь же «машинообразную» политическую программу. Основные ее положения сводятся к следующим пунктам:

а) необходим новый тип государства с преобладанием тоталитарных форм управления;

б) это государство должно будет держать подданных в постоянном страхе, неустанно, «каждый час и каждую минуту», ведя слежку за всеми;

в) поскольку гении, таланты, яркие индивидуальности представляют своей неординарностью угрозу для власти «машинообразных» лидеров, все люди будут в своем развитии приводиться к среднему уровню посредством идеологического и полицейского террора, в ходе которого Цицеронам вырвут языки, Коперникам выколют глаза, Шекспиров побьют камнями и т.д.;

г) чтобы придти к осуществлению этой программы, необходимо начать с тотального разрушения всего и вся, совершить на практике переход от порядка к хаосу.

В этой криминально-политической программе смешались «машинная» рациональность бездушного негодяя с бесовской иррациональностью обезумевшего маньяка.

Один из наиболее впечатляющих парадоксов личности Верховенского — это как раз удивительное сочетание «машинообразности» с маниакальностью деструктивного энтузиазма. Оно придает фигуре политического злодея особо мрачный характер. При непосредственном участии этой бесчувственной «машины» события в романе обретают вид надвигающегося шквала, воцаряющегося хаоса, когда совершаются с десятков убийств и самоубийств, несколько сумасшествий и грандиозный пожар от поджога. В итоге мир, заключенный в текстовую оправу романа, начинает напоминать чудовищный бестиарий, где отсутствует любовь и милосердие, а есть только беспощадная борьба всех против всех.

Один из источников этого ужаса Достоевский видел в проникающих с Запада философских умонастроениях рационалистического, материалистического и атеистического содержания. Учения Дарвина, Милля, Штрауса и других представителей европейской «прогрессивной» мысли, попадая на российскую почву, как правило, принимали в славянском сознании, не искушенном многовековой философской выучкой, вид несокрушимых аксиом. Более того, из них нередко делались практические выводы, о возможности которых и не подозревали западные учителя.

Разумеется, позитивное знание никого прямо не учило злодействам. И если Штраус, — с нескрываемой иронией замечает Достоевский, — отрицал и осмеивал Христа, то к человеку и человечеству он демонстрировал при этом самую искреннюю любовь и желал для них самого светлого будущего. «Но зато мне вот что кажется несомненным, — продолжает писатель, — дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество

и построить заново – то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями человечества, прежде чем оно будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома. Европа, по крайней мере, в высших представлениях своей мысли, отвергает Христа, мы же, как известно, обязаны подражать Европе» [Т. 21, с. 132–133]*.

Согласно Достоевскому, ценностно-ориентационная и практически-преобразовательная деятельность нравственного, правового и политического сознания должна опираться на принципы теоцентризма. Он распространяет дух Теодицеи на все, без исключения, сферы социальной и духовной жизни. Западное же философское, моральное и политико-правовое сознание XIX в. по преимуществу антропоцентрично и, как правило, не приемлет ни религиозных, ни метафизических нормативно-ценностных оснований.

В этих основаниях не нуждается «человек-машина», демонстрирующий, что у откровенного имморализма, у политических и уголовных преступлений одна и та же природа. Все они начинаются с отрицания высших начал бытия, абсолютных ценностей и норм.

Характерно, что Верховенский, формирующий политическое сообщество, использует приемы и методы создания криминальных ассоциаций. Как лидер, сочетающий черты организатора и идеолога, он внушает своим единомышленникам сознание исключительности стоящих перед ними задач. Одновременно он насаждает вокруг себя психологическую атмосферу тайны, которая необходима ему, чтобы до поры до времени скрывать свои истинные намерения от окружающих и тем самым избежать излишних препятствий на пути к власти. Отсюда необходимость иметь в распоряжении и постоянно менять различные социальные маски. Они позволяют ему изображать цивилизованного, законопослушного гражданина и сознавать себя при этом совершенно свободным от нравственно-правовых ограничений, расценивая их как «гнилые веревки».

Каждый член нелегальной политической организации, как и преступник, вынужден существовать одновременно в двух нормативно-ценностных измерениях. Его истинное «я» пребывает в пространстве политико-криминальных ценностей и смыслов, а его «маска» фланирует внутри легальной нормативно-ценностной реальности. Эта раздвоенность создает скрытое поле внутренней напряженности. И чем больше субъективное расстояние между истинным «я» и прикрывающей его «маской», тем выше степень возникающей при этом театральности и таинственности.

Верховенский, в качестве главного режиссера и ведущего актера в разыгрываемом им спектакле, искусно руководит логикой разворачивающихся событий, направляя их в нужное ему русло. Но, в отличие от обычного спектакля, имеющего в самом себе художественно-эстетическую самоцель и самооценку, то представление, что разыгрывается Верховенским, имеет цели вне себя. Все его лицедейство подчинено логике борьбы за будущую власть. Его большая игра – это борьба не только «за», но и «против», т.е. против тех, кто представляет и оберегает социальный порядок, защищает морально-правовую реаль-

* Здесь и далее цит. по: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30-ти т. Л.: Наука, 1972–1988.

ность. Поэтому его игра – это не спектакль-праздник, а спектакль-мистификация, где силы зла, облаченные в одежды благопристойности, заполняют социальное и духовное пространство вокруг себя тотальной ложью, чтобы в ее клубящемся мареве скрыть свою истинную личину с ее пугающе уродливыми гримасами.

Криминальная реальность, внутри которой существует истинное «я» Верховенского, отличается такими признаками, как, во-первых, жесткая отстраненность от других ценностных миров, прежде всего, от мира высших религиозных, нравственных и естественно-правовых абсолютов. Во-вторых, ей присуща острая напряженность отношений с официально-нормативной ценностной реальностью. И третья ее особенность – это слабая уязвимость, объясняющаяся тем, что она, при всей антагонистичности ее положения, стремится по-своему копировать структуры легальных социальных реалий. Подобно тому, как Дьявол пародирует Бога, пытаясь подражать ему, криминальный мир стремится, при всей карикатурности его усилий, воспроизводить нормативно-ценностные стереотипы легитимного и сакрального миров, пытаясь обрести за счет этого дополнительную жизнестойкость.

Убийство Шатова в «Бесах» не случайно носит черты ритуального жертвоприношения. При этом оно имеет вид чудовищной пародии на древний ритуал: вместо торжественности священного обряда – грязная низменность всей сцены, вместо открытой официальности – трусливо прячущееся тайнодействие, вместо упования на благосклонность высших сил – ставка на темные начала зла, на спайку всех участников убийства пролитой кровью жертвы и круговым страхом друг перед другом.

Верховенский целеустремленно формирует замкнутое нормативно-ценностное пространство криминально-корпоративной «морали» с жесткими принципами самоорганизации и самосохранения. Он требует, чтобы отношение членов ассоциации к ее задачам и целям было предельно серьезным и не допускает ни скепсиса, ни самоиронии, ни критики. Нарушителей незамедлительно настигает кара. Насилие выполняет охранительную функцию, выступая средством сплочения и самозащиты этого искусственного мира.

Кроме схождения в структуре и формах деятельности криминально-политических и сугубо уголовных организаций, между ними имеются и существенные различия. Так, если для криминальной группы ее конечные цели ограничиваются решением, прежде всего, корыстно-меркантильных задач, то цели криминально-политических ассоциаций идут дальше – они ориентированы на достижение политического господства, при котором члены ассоциации переходят в положение правящей элиты. Если ассоциированные уголовники, как правило, не бросают сознательного вызова государственному строю и государству в целом, а предпочитают иметь дело с отдельными гражданами, то криминально-политическая ассоциация дерзко идет на открытый антагонизм с государственной властью и ее институтами. Если криминальная группировка представляет собой своеобразный пример «вещи-для-себя» и не скрывает своего корпоративного эгоизма, то криминально-политическая ассоциация маскирует свои столь же низменные интересы «дымовой завесой» заботы о якобы волнующих ее интересах народа.

Последнее обстоятельство, отмечал Достоевский, позволило таким, как Верховенский, вербовать сторонников не только из среды малообразованных «недоразвитиков» и фанатиков с болезненной жадой интриг и власти, но и вовлекать молодых людей с хорошим сердцем, хотя и с шаткостью в понятиях. Судьба последних оказывалась по-настоящему трагичной, поскольку мошенники, изучившие великодушную сторону человеческого сердца и умеющие играть на ее струнах как на музыкальном инструменте, превращали, в конечном счете, этих юношей в преступников.

Достоевский сетовал на то, что современная молодежь не защищена против «бесовщины» зрелостью твердых убеждений и нравственной стойкостью. У многих материальные побуждения господствуют над высшей идеей, а настоящее образование заменено стереотипами нахального отрицания с чужого голоса, недовольством и нетерпением. В итоге «даже и честный и простодушный мальчик, даже и хорошо учившийся, может подчас обернуться нечаевцем... разумеется, опять-таки, если попадет на Нечаева... [Т. 21, с. 133]. Перед такими мальчиками нечаевы-верховенские расписывают уголовные преступления как политические подвиги.

Роковым превращением, совершавшимся в душах многих «русских мальчиков», способствовало и само «смутное время», понуждавшее российскую цивилизацию вначале медленно, а затем все быстрее скользить по наклонной плоскости, ведущей от порядка к хаосу. «...В моем романе "Бесы", – писал Достоевский, – я попытался изобразить те многообразные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого чудовищного злодеяния. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем! Это и не у нас одних, а на всем свете так, всегда и с начала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шаткости в основных общественных убеждениях. Но у нас это более чем где-нибудь возможно, и именно в наше время, и эта черта есть самая болезненная и грустная черта нашего теперешнего времени. В возможности считать себя, и даже иногда почти, в самом деле, быть не мерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, – вот в чем наша современная беда!» [Т. 21, с. 131].

«Человек-орудие»: художественная модель с признаками идеального типа

Н.О. Лосский назвал отцеубийцу Смердякова воплощением идей плоского рационализма и «просвещенчества», существом, лишенным глубинного мистического опыта, признающим один лишь опыт материально-чувственного восприятия в его вульгарно-прагматических формах. Но это далеко не так. Смердяков отнюдь не однозначен. Его фигура скрывает нечто такое, что заставляет считать его таким же метафизическим персонажем, как и другие герои-преступники Достоевского.

К постижению истинной сути натуры Смердякова ближе всех в романе оказался адвокат Фетюкович. По его определению, лакей – существо совсем

не примитивное и не робкое, а напротив, решительно злобное, непомерно честолюбивое, завистливое и мстительное. В его беспокойном и чего-то ищущем уме присутствовала способность к созерцанию и пониманию многих весьма не простых вещей. И все это было окрашено настроениями необъятного и притом оскорбленного самолюбия.

Смердяков ненавидел свое происхождение от юродивой Лизаветы Смердящей: «Я бы на дуэли из пистолета убил того, который бы мне произнес, что я подлец, потому что без отца от Смердящей произошел», – говорит он. Он питает глубокое и стойкое презрение к своим простодушным воспитателям – Григорию и его жене. Его переполняет ненависть к России, он мечтает о Франции, о том, чтобы уехать за границу и там «переделаться во француза». Когда лакейская мысль выходит на всемирно-историческую арену, начинают рождаться сожаления о том, что Франция не победила Россию, поскольку если бы умная нация покорила глупую, то установились бы гораздо лучшие порядки.

Описывая внешность Смердякова, Достоевский подчеркнул, что тот походил на скопца. А это перекликается с христианским определением греха как неспособности рожать жизнь, как бесплодия и бессилия, как готовности к разрушению и умерщвлению. Смердяков, рожденный в результате грехопреступления, сам стал носителем губительного, смертоносного начала. Своим рождением он убил мать, скончавшуюся при родах, а возмужав, убивает отца, чтобы затем повеситься самому.

Приближению трагической развязки в огромной степени способствовало общение лакея с приехавшим из Петербурга средним братом Иваном. Своим напряженно-обостренным внутренним слухом Смердяков стал внимательнейшим образом воспринимать все, что шло от Ивана. Слыша неизреченное и замечая скрываемое, он одним из первых почувствовал в петербургском госте «мыслепреступника».

У Достоевского есть примечательное высказывание о том, что многие люди не решаются на преступление потому, что «боятся какого-то обычая, какого-то принятого на веру правила, почти что предрассудка: но если б чуть-чуть “доказал” кто-нибудь из людей “компетентных”, что содрать иногда с иной спины кожу выйдет даже и для общего дела полезно, и что если оно и отвратительно, то все же “цель оправдывает средства”, – если б заговорил кто-нибудь в этом смысле компетентным слогом и при компетентных обстоятельствах, то, поверьте, тот час же явились бы исполнители, да еще из самых весельх» [Т. 25, с. 46]. В этом смысле Иван оказался для Смердякова просто находкой, поскольку взял на себя именно эту «компетентную», интеллигентную работу, которую лакей самостоятельно никогда бы не осилил. Позволив Смердякову говорить с собой об отвлеченных, казалось бы, предметах, Иван не заметил, как роли господина и слуги трансформировались в роли учителя и ученика.

Считая себя солидарным с Иваном в своих тайных помыслах, Смердяков с готовностью предоставил тому возможность довершить разрушение абсолютных запретов в своей душе. Декларируемые Иваном принципы безверия и вседозволенности пали на благодатную почву и должны были дать всходы. Это было, в сущности, неизбежно, ибо «идеи заразительны... в общем настроении жизни иная идея, иная забота или тоска, доступная лишь высокообразованному и развитому уму, может вдруг передаваться почти малограмотному существу,

грубому и ни о чем никогда не заботившемуся, и вдруг заразить его душу своим влиянием...» [Т. 24, с. 51]. В итоге не только слуга обогатился идеями господина, но и господин приобрел орудие осуществления своих замыслов. То, что орудие оказалось одушевленным существом, одновременно и усложняло и упрощало задачу.

У орудий убийства есть своя логика существования. Предмет, находящийся в стороне от жизненных маршрутов человека, замысляющего преступление, может быть намеренно втянут в пространство новых для него отношений и смыслов, и, тем самым, может радикально изменить свою природу. Топор Раскольникова или пестик Дмитрия Карамазова важны не тем, чем они являются по своей природе, а теми новыми ролями, которые им пришлось сыграть в координатах новых для них систем человеческих действий и сопутствующих им систем ценностей и норм. На них легли отчетливые печати мотивов, решений и поступков Раскольникова и старшего из братьев Карамазовых. Более того, они стали буквальным, физическим продолжением, удлинением и усилением человеческих рук, занесенных над жертвами. Топор и пестик словно выньернули из физического мира и попали в метафизическую реальность, где вещи не столько выполняют присущие им функции, сколько изменяют судьбы людей. Обретая судьбоносность, вещь обнаруживает свой, дотоле скрытый, метафизический потенциал и доказывает, что она, как и человек, является обитателем своих миров, физического и метафизического.

Нечто подобное происходит и со Смердяковым, превратившимся в «человека-орудие». Н. Лосский все-таки наполовину прав: Смердяков действительно до некоторого момента пребывал в плоскости сугубо материально-чувственных восприятий. Но, став орудием убийства, он обрел совершенно другие черты. Побывав за страшной гранью, он вернулся из того темного анормативного пространства, где ничто не запрещено, уже другим существом. В облике вчерашнего «насекомого» появилось нечто «не от мира сего», что-то демонически высокомерное, поразившее Ивана и привнесшее в его отношение к лакею чувство робости и страха.

Смердяков, хотя и считает себя «службой Личардой» высокоумного Ивана, но отождествлять свою сущность с социальной ролью лакея не желает. Поэтому он по-своему «заявляет своеволие». Поначалу он пытается переступить черту интеллектуального неравенства и начинает умствовать в присутствии господ. Затем, не довольствуясь ролью ученика, сам берется выступить в роли учителя. Он подыскивает себе «орудие» – учит двенадцатилетнего мальчика Илюшу «зверской шутке», состоящей в том, чтобы запрятать в хлебный мякиш иглу и бросить его голодной дворняге, глотающей куски, не жуя.

В Смердякове нашла свое воплощение ветхозаветная мифологема «хамства». С библейским Хамом его роднит пренебрежение ко всему, что его породило – матери, отцу, воспитавшему его Григорию, к стране, где ему довелось появиться на свет. Достоевский не случайно наделил его фамилией, производной от старинного слова «смерд», т.е. слуга, лакей, раб. В Древней Руси слуг нередко называли «хамками», и с тех пор между словами «смерд», «лакей» и «хам» существует синонимия. В случае со Смердяковым первое слово высвечивает его природную, наследственно-родовую сущность, второе – его низкое социальное положение, а третье характеризует его с моральной стороны.

Слившись, несмотря на внутренний протест, со своей социальной ролью слуги, ощущая, что маска лакея к нему приросла и что выбраться из плена этой роли и маски ему не удастся, Смердяков во всех своих ипостасях остается низменным существом, источающим социальную зависть и озлобленность. Это, по сути, человек толпы, и толпы преступной. Таких людей, пишет Достоевский, развелось в наше неустойчивое время чрезвычайное множество. Они досаждают: «Зачем, дескать, везде они, а не я, зачем не обращают и на меня внимание». В этом состоянии личного раздражения и неудовлетворенного, так сказать, идеала иной господин готов подчас взять спичку и идти зажигать – до того это чувство мучительно... Но зажигать спичкой уже крайность и, так сказать, удел натур могучих, байроновских. К счастью, есть выходы не столь ужасные для натур не столь могучих. Такой выход – просто напакостить, ну там наклеветать, налгать, насплетничать или анонимное, ругательное письмо опустить» [Т. 25, с. 127].

То, что совершил Смердяков, свидетельствует о том, что это натура отнюдь не мелкая и не плоская. «Бульонщик» предстает как воплощение страшного brutального начала, губительного для самих основ цивилизации.

Антропологемы «человека-зверя» и «человека-паука»

В XVIII в. в ряде европейских стран начал утверждаться культ всего естественного. Этому в немалой степени способствовала руссоистская философия «естественного человека» как одна из форм нововременного антропоцентризма.

В представлении глашатая «женевских идей» «естественный человек» – это существо, чья витальность предоставлена самой себе, чье сознание достаточно свободно от нормативно-ценностного диктата цивилизации. Будучи от природы незлобивым и благоразумным, «естественный человек» не склонен к злодеяниям и потому не нуждается ни в государстве, ни в нормах и законах права.

Однако Руссо и его сторонники слишком благодушно смотрели на человека и прошли мимо многих отрицательных сторон его природы. Веря в человеческую рассудительность, они упустили из вида, что тот же рассудок способен быть лживым, коварным и представлять значительную опасность для окружающих. Превознося свободу от искусственных условностей цивилизации, они закрыли глаза на способность человека употреблять ее во зло себе и другим. Они фактически проигнорировали то важное обстоятельство, что зло имеет свои предпосылки не только вовне, но и внутри человека. А между тем, в глубинах человеческого существа, там, где гнездятся инстинкты, аффекты, страсти, способности испытывать страх и ярость, злобу и ненависть, всегда будет присутствовать готовность защищаться и нападать. Это, в свою очередь, означает, что еще долго люди будут не только строить, но и разрушать, не только рождать, но и убивать себе подобных.

Концептуальные промахи руссоистской доктрины не замедлили породить философскую реакцию весьма специфического свойства. Маркиз де Сад, согласный с тем, что человеку следует быть как можно ближе к простоте естественного существования, пошел гораздо дальше невинных рассуждений Руссо. Для него теория «естественного человека» – это, прежде всего, апология

естественного права на проявление людьми их витальных сил сексуального характера. Он утверждал, что сама мать-природа призывает к этому своих детей. Но де Сад не ограничился апологией одной лишь раскованной сексуальности. Надвинувшаяся, а затем захлестнувшая Францию волна террора в формах революции, гражданской войны, завоевательных кампаний отозвалась в его философии «естественного человека» новой доминантой: культ сексуальности соединился с культом насилия. По мнению де Сада, природу человека определяет сочетание двух естественных вождений – страсти к наслаждениям и страсти к разрушению. Взаимозависимость этих бессознательных наклонностей такова, что чем сильнее и радикальнее творимые разрушения, тем выше степень получаемого при этом наслаждения. Так «естественный человек» Руссо превратился из «добраго дикаря» в грубое, кровожадное, сладострастное существо, мало чем отличающееся от паука, издавна являющегося символом этих качеств.

«Сладострастное насекомое» или «человек-паук» – это человек личного беззакония, не желающий удерживаться от искушений. Он любит погружаться в мечты и вождения о запретных удовольствиях. Необходимость в нарушении ради них норм морали и права существенно повышает в его глазах их притягательность. Он не находит ни в себе, ни вокруг себя ничего из того, что могло бы его образумить и утихомирить демона сладострастия, владеющего его «темной душой». Он не просто готов, он страстно жаждет потонуть в бездне «идеала содомского».

Антропологемы «человека-паука» и «человека-зверя» характеризуют им-морально-криминальное поведение, при котором безраздельно доминируют инстинктивно-организменные, витально-подсознательные начала. Разница состоит лишь в том, что в поведении «человека-паука» сексуальность доминирует над деструктивностью, а у «человека-зверя» деструктивность преобладает над сексуальностью. Но им обоим в равной степени чуждо какое бы то ни было чувство и сознание меры. В итоге возникают не просто поведенческие отклонения от цивилизованных норм, а настоящие откаты назад, в состояния животности и зверства. Слабо поддающиеся управлению аффекты-страсти способны превращать человека в безжалостного паука и яростного зверя.

Примечательны две весьма мрачные констатации, исходящие от Ивана Карамазова. В одной он универсализует феномен зверства, говоря, что во всяком человеке таится зверь, «зверь гневливости, зверь сладострастной распалюемости от криков истязаемой жертвы, зверь без удержу, спущенный с цепи». В данном суждении это качество человека максимизируется до высшей степени: «Зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток».

Достоевский весьма тщательно изучал феномены «впадений» человека в животность и зверство. В «Дневнике писателя» за 1873 год он обращает внимание на описанную в газетах историю одного судебного разбирательства. 30 сентября 1872 г. в Моршанске сессия Тамбовского окружного суда слушала дело крестьянина Н.Я. Саяпина, который систематическими истязаниями довел свою жену до самоубийства. Сообщалось, что он несколько лет избивал ее веревками и палками и морил голодом. Любимым его приемом было вынуть половицу,

просунуть в эту щель ноги жены, притиснуть их снова половицей и затем долго и нещадно избивать беспомощную жертву.

Писатель попытался представить себе внешность истязателя, и ему увиделся высокий, белокурый, с жидкими волосами мужик с белым, пухлым телом, медленными, важными движениями и привычкой говорить мало, роняя слова как драгоценный бисер.

Свидетели показали, что Саяпин всегда отличался жестоким характером. Он любил, например, поймать курицу и просто так, ради удовольствия, повесить ее за ноги.

Достоевский пишет: «Видали ли вы, как мужик сечет жену? Я видел. Он начинает веревкой или ремнем. Мужичья жизнь лишена эстетических наслаждений – музыки, театров, журналов; естественно, надо чем-нибудь восполнить ее. Свяжав жену или забив ей ноги в отверстие половицы, наш мужик начинал, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, т.е. именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему бить? Удары сыплются все чаще, резче, бесчисленнее; он начинает разгорячаться, входит во вкус. Вот уж он озверел совсем и сам с удовольствием это знает. Животные крики страдальцы хмелят его как вино: “Ноги твои буду мыть, воду эту пить”, – кричит Беатриче нечеловеческим голосом, наконец, затихает, перестает кричать и только дико как-то кряхтит, дыхание поминутно обрывается, а удары тут-то и чаще, тут-то и садче... Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с трех последних ужасных ударов на ее спине, – баста! Отходит, садится за стол, вздыхает, принимается за квас... Под конец ему нравилось тоже вешать ее за ноги, как вешал курицу. Повесит, должно быть, а сам отойдет в сторону, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг опять возьмет ремень и начнет, и начнет всячую...» [Т. 21, с. 21].

Разнообразие печальных и трагических жизненных впечатлений подсказывало Достоевскому, что свойства палача и садиста, хотя бы в зародыше, можно обнаружить почти в каждом человеке. Но звериная жестокость развивается далеко не в каждом. Если в ком-то она пересиливает все остальные свойства, такой человек становится безобразен и страшен. «Есть люди как тигры, жаждающие лизнуть крови. Кто испытал раз эту власть, это безграничное господство над телом, кровью и духом такого же, как сам, человека, так же созданного, брата по закону Христову; кто испытал власть и полную возможность унижить самым высочайшим унижением другое существо, носящее на себе образ божий, тот уже по неволе как-то делается не властен в своих ощущениях... Я стою на том, что самый лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя» [Т. 4, с. 154].

Тема «человека-зверя» занимала не одного Достоевского. Примерно в это же время такие выдающиеся художники слова, как Э. Золя в романе «Человек-зверь» и Л.Н. Толстой в повести «Крейцера соната» также обращаются к ней. В том же ряду, где находятся преступления Жака Лантье и Позднышева, стоит и убийство Парфеном Рогожиным Настасьи Филипповны.

В натуре Рогожина, по-звериному хитрой и вместе с тем необузданной, преобладает буйное, дикое, разбойничье начало. Это существо с крайне огра-

ническим внутренним миром, слабо затронутым воспитанием и культурой. В высказываниях и поступках он предстает мрачным догматиком с авторитарным сознанием. Безжалостный ко всем, включая себя, он отличается привычкой терпеть унижения и унижать других. Хотя через него, как и через все сущее, катятся метафизические волны, его дух не воспринимает их, будучи совершенно закрыт для возвышенных переживаний.

Любовь-страсть Рогожина к Настасье Филипповне мрачна и тяжела, лишена малейшего намека на цивилизованную куртуазность. Она заставляет его сообщать о своих переживаниях либо каким-то полужвериным рыканьем, либо же дикими выходками, повергающими всех в изумление. К своей цели он идет напролом. И даже опасность совершить преступление не удерживает его, что и обнаруживается, когда он едва не убивает беззащитного князя Мышкина. Страсть Рогожина убийственна в прямом смысле этого слова. Настасья Филипповна гибнет от его ножа, но возмездие почти сразу же настигает убийцу. Утратив рассудок, он в течение нескольких дней остается наедине с трупом, выказывая какую-то странную, даже можно сказать, возвышенную некрофилию.

Достоевский изображает своего «человека-зверя» максимально приближенным к меркам элементарной «естественности». Здесь нет катализаторов процесса «озверения» в виде рафинированных музыкально-сонатных возбудителей ревности как в «Крейцеровой сонате», отсутствует неодолимая наследственная предрасположенность к патологическому насилию, как в романе Золя. Рогожин – дремучий русский мужик, ощутивший в своих руках богатство, а с ним и власть делать все, что ему захочется. И, думается, окажись в его руках роскошный дворец, он мог бы из одного дикого каприза, не моргнув глазом, поджечь его. Очутись в его власти огромная страна, он вполне мог бы, войдя в раж, попытаться расправиться с ней, как с Настасьей Филипповной. И все потому, что его звериное своеволие не располагало к иным, более сложным и более цивилизованным формам демонстрации его натуры.

Другую разновидность «естественного человека» – «человека-паука» – отличает приверженность философии сексуального гедонизма. Эту философию, приправленную изрядной долей цинизма, исповедует Федор Павлович Карамазов. Метафора «сладострастного насекомого» приложима к нему более чем к кому-либо. Он не скрывает своего паучьего сладостолбия даже от своих детей: «Деточки, поросяточки, вы маленькие, для меня... даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило! Можете вы это понять? Да где же вам это понять: у вас еще вместо крови молочко течет, не вытупились! По моему правилу, во всякой женщине можно найти чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь, – только надобно уметь находить, вот где штука! Это талант! Для меня мовешек не существовало...» [Т. 14, с. 126]. Это от него сын Дмитрий унаследовал приверженность «идеалу Содомскому», напоминающему о библейском городе, населенном людьми, обладавшими паучьим сладострастием и вздумавшими посягнуть на самих ангелов, посланцев Бога.

К разряду «сладострастных насекомых» относятся Свидригайлов и Ставрогин. Не случайно Свидригайлову ад представлялся в виде темной бани с множеством пауков, а Ставрогин в тот момент, когда совращенная и доведенная

им до самоубийства девочка вешалась в чулане, был погружен в созерцание паучка на листе герани.

Для «людей-пауков» Бог мертв, во вселенной царит безначалие, человек предоставлен самому себе и может жить так, как считает нужным, делать то, чего требуют его инстинкты и вожделения. В «Записках из Мертвого дома» Достоевский рассказывает об одном арестанте из дворян: «Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдержанная внутренне никакой нормой, никакой законностью... Это был чудовище, нравственный Квазимодо... Он стал каким-то куском мяса, с зубами и желудком и с неукротимой жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений... За малейшее из них он был готов убить, зарезать... Прибавьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой, несколько даже образован, имел способности. Нет, лучше мор и голод, чем такой человек в обществе!» [Т. 4, с. 63].

Человек, не имеющий возвышенных целей, пребывающий в состоянии духовной несвободы, не замечает, как его первые грехопадения превращаются в устойчивые пороки. Под напором ничем не сдерживаемых инстинктов и страстей на душе как метафизической субстанции начинают проступать знаки распада. Она лишается целостности и творческой силы и уже не в состоянии противодействовать страшной метаморфозе, в финале которой миру являются «человек-демон», «человек-машина», «человек-орудие», «человек-зверь» и «человек-паук». Из-за них социальное пространство обретает черты паноптикума-бестиария в духе Иеронимуса Босха.